

Анна
Михайлина
Евгеника



Анна Михайлина

Евгеника

«Автор»

2013

Михайлина А.

Евгеника / А. Михайлина — «Автор», 2013

«Евгеника» – это история поиска, роман-путешествие, во время которого герои идут к себе и своей любви. Отдельный слой романа составляют сюрреалистические и мистические мотивы: сны как предвестники, как выходы на другие уровни действительности играют в произведении сюжетобразующую роль. Мир романа заселён разнообразными персонажами, как осязаемыми, будто выписанными крупными яркими мазками, так и призрачными, явленными в пространстве одной характерной деталью, либо выступающими в качестве портативного *Deus ex machina*.

© Михайлина А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Часть 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Анна Михайлина

Евгеника

Часть 1

История о любви, судьбах и снах

* * *

Справа сидела блондинка и стреляла глазками. Что ж, пусть думает, что развела. Коктейль за его счёт, и вот она уже расстилает ему постель.

А наутро он даже не возьмёт её номер телефона.

И так каждый раз, когда жизнь слишком холодна и беспечна, чтобы спать в одиночку, но ещё достаточно молода и амбициозна, чтобы не платить за обогрев наличными.

В своей квартире на полке морщинистого книжного шкафа он хранил тайну, которую мужчины его рода из поколения в поколение передавали друг другу. После ухода каждой из временных возлюбленных он брал с полки Книгу, что скрашивала его будни, окидывая взглядом абзац и вырывал страницу. Так он прочитывал роман за романом, выбрасывая из памяти лица лист за листом. Его история лангобардов подходила к концу, и он уже подумывал, какую книгу было бы неплохо почитать.

Однажды зимним вечером отец подошёл к нему и шепнул на ухо секрет, который с той поры стал его силой и проклятием. В детстве он стеснялся своей особенности, испуганно поглядывал на сверстников, разгадывая в их взглядах, не прознали ли они о его тайне. Ему мешало его имя, и тогда он взял себе новое, ещё не помятое осуждениями и насмешками; и с тех пор, как в отражение его зеркала стал смотреть Елисей, мальчик перестал волноваться и прятаться в тени собственных ресниц. В его карманах поселилась весна, и он черпал из них пригоршнями свободную молодость и поил ею с рук всех, в чьих глазах не умерла вера в исключительность прошлых ошибок. Он стал родником, прохладой которого наслаждались те, кто думали, что устали, и бросал блики на тех, кто смотрел на мир чересчур раскрытыми глазами, но, тем не менее, так ничего и не разглядел. В детстве ему нравилась Верочка, девочка с кудрями цвета морского заката, разбросанными нежными завитками по всей голове, и он тайком следил, как она сдувает со лба непослушный локон, щекочущие спадавший на ресницы. Он сидел за соседней партой по диагонали и смотрел на её костлявые коленки, выглядывавшие из-под синей юбки, трогал воздух, где, казалось, он соприкасался с её ногами, и стыдливо прятал руку, когда она, словно что-то почувствовав, резко поворачивала голову и пристально шурилась.

Он берёт то осторожное чувство, разгоравшееся в нём, и в конце каждого учебного года, вместо усердного восхождения по ступенькам мнимых единиц, он блаженно грезил об её коленках, наблюдая, как она, посапывая, выводит буквы и цифры на клетчатых страницах.

Он не предпринимал никаких шагов к сближению, стоял у стенки по струнке, пестуя в себе приязнь к ней. А она не замечала его баркарольных взглядов и рисовала чертей в тетради соседа по парте. Из года в год её юбка становилась короче, а коленки её трогали, уже по-настоящему, сперва неумелые мальчишеские руки, а потом и грубые мужские. И притяжение к ней стремительно исчезало, освобождая его от призрачных наваждений. А она всё смотрела на него и шурилась, недоумевая, почему больше не чувствует, как её спадающие кудряшки обдувает неощутимый ветерок и робкое тепло ложится ей на ноги.

Фантазии на тему Верочки сменили недолгие размышления о Сонечке, пышнотелой озорнице, скользнувшей однажды на перемене ладонью в карман его брюк. Она игриво наблюдала за его мальчишеской реакцией и, удовлетворившись достигнутым эффектом, удалилась, покачивая бёдрами. В кармане лежали ключи, и сперва он испугался, что она их взяла, но заметив, что дело не в ключах, испугался, что это заметила и она. Три дня он обходил её стороной и опасался повторения, а на четвёртый сам подошёл и решительно прижал и Софью, и её прельстительные перси к себе. Она ощутила снова то, что ощутила в прошлый раз, неожиданно для себя промолчала, заалела и больше своих шалостей повторять не решалась.

Юноша же, удостоверившись, что дальше игр дело не пойдёт, тем же вечером распрощался с очередным увлечением. Он, родившийся для непрерывного получения наслаждения, искал и находил его в постоянных флиртующих взглядах, якобы случайных прикосновениях, головокружительных комплиментах, брошенных им то ли случайно, то ли с серьёзными намерениями, в итоге сводивших с ума даже неприступных маменькиных дочек, клявшихся и божившихся матерям хранить самое ценное до свадьбы. И как только он достигал жертву и уже склонялся над ней с довольным волчьим оскалом, интерес пропадал, а руки ослабляли хватку, позволяя удалиться той, от которой больше ничего нельзя получить.

На семнадцатилетие отец подарил ему первую книгу со своим благословением, забрав врождённое благородство, и на полке стал дожидаться своего часа Марк Аврелий. Толстый том неподвижно томился и влёк своей нетронутостью и непредсказуемым содержанием. Вокруг него сосредоточились все мысли Елисея, жаждавшего новых знаний и впечатлений, новой свободы, которая обречёт его жить без бога, с таким огнём в сердце, от которого у других внутри не осталось бы и пепла.

Он ходил по улицам и вглядывался в лица встречных девушек, гадая, какой явится его избранница, и предполагая, предначертана ли его любовь к какой-то определённой женщине, или же он сам изберёт чувствительный предмет и взлелеет чувство, раскрывающее двери в ликующее будущее осенённым любовью существам. Он критично оценивал фигуры, походки, причёски. «Она?» – с надеждой пытал он у своего сердца, завидев пышную гриву выбеленных волос и тугую нарощенную грудь. «Не Она», – отвечало оно, уже в семнадцать зная наизусть слова отца и выдавая их за единственно возможную истину, что главное – обрести спокойствие, а женщина лишь временное пристанище. Но той энергии, которая была ему нужна, он не находил, и в один прекрасный февральский день он оставил поиски и перестал крутить головой по сторонам.

– Она сама тебя отыщет, – подтвердил отец, разглядывая в его волосах соломинки, что остались с ночи, когда он мечтал о забавах деревенской жизни. – Они всегда приходят сами, их много, и уже скоро ты не сможешь вспомнить всех имен, – посмеивался он и набивал трубку.

Сын смотрел на него и втайне ненавидел эти пожелтевшие зубы, эти небрежность и презрение к любой из тех, что могла стать матерью его детей. Гнев покрывал глаза красной сеточкой сосудов, а кулаки бессмысленно стучали по коленям. «Ещё посмотрим. Не все такие, как ты,» – презрительно отвечал он отцу про себя и, повторяя это, укреплял веру в собственные слова.

Весной он встретил Женщину, которая поделилась с ним своим теплом и опытом, встречая мартовские ночи в его объятьях. Они столкнулись на выставке живописи в музее, в холодном мёртвом зале, от которого веяло плесенью и гнилым прошлым. Они рассматривали одну и ту же картину и думали в унисон, как безвкусно нынче стали имитировать искусство. Она бросила пару слов, он поймал, они выпили в кафетерии по чашечке кофе, и только тогда он заметил, как совершенно изгибаются линии её кистей и как пропорционально её лицо. Она же чиркнула спичкой и закурила сигарету, пуская клубы едкого дыма в его карие глаза. Он запутался в тумане никотина, в меандровых орнаментах её фраз, и едва отыскал скважину, встав-

ляя ключ в дверь её квартиры. В первое утро после совместно проведённой ночи он вернулся домой, подошёл к полке и открыл Размышления.

От деда моего Вера – добронравие и негневливость

– прочёл он, благоговейно провёл рукой по шершавой бумаге и вырвал первый лист. Он был уверен, что пришла настоящая любовь, которую необходимо оставить навеки единственной.

Она была старше, с трёхлетней дочерью, которую посторонним не позволялось видеть; и ему было удобно, что никто не мешает им быть наедине. Её волосы пахли ирисами, он вдыхал их аромат и мечтал о будущем.

Она где-то работала, с кем-то общалась всё то время, пока была не с ним, но он никогда не интересовался, не ревновал к её другой жизни и был уверен, что та часть, к которой принадлежит он, гораздо важнее и существеннее остальных. Зная не понаслышке о том, как легко и просто разбить хрупкое венецианское стекло отношений, он стерёг мир их пары, отгоняя зачатки подозрений и повышенных тонов, своей заботой превращая хрусталь в силикат, в котором эмоции не преломляются в тонких дроблёных гранях.

Он намеревался прервать цепь жестоких разочарований и мучительных исканий, в которой погрязли все мужчины в его роду. Он дарил Женщине себя и пытался склеить их судьбы навеки, изо всех сил верил, что с первого же раза нашёл ту единственную, на поиски которой у его отца и деда ушли впустую десятки лет. Он даже подумывал взойти на алтарь и принести себя в жертву Гименею во имя вечной любви, и от мысли о бытности священным агнцем его сердце пылало, а голос разума скептически твердил, что роль барана ему всё равно однажды достанется, но вряд ли в этой пьесе.

Вера в его любовь к ней делала его сентиментальным; отец презрительно фыркал при виде его падения пред Женщиной и предостерегал, что подобное преклонение до добра не доведёт.

«Колени сотрёшь, не на чем будет валяться, когда время придёт,» – гневно бормотал он сквозь трубку, набитую вишнёвым табаком. Сын в ответ усмехался и поспешно шёл туда, где ждала его первая Женщина.

По ночам он проживал с нею недожитые кем-то жизни; дописывал недописанные рассказы, понимал непонятые мудрости; он становился старше, копируя её треугольную улыбку, и находил в её локонах забытые кем-то непринятые оправдания. Она позволяла забирать у себя старые обиды и рвать их в мелкие клочья, смеясь, выбрасывая разноцветные конфетти ушедших в прошлое лиц на фотографиях.

Днём он садился в автомобиль и ехал в поисках края света, подгоняемый северным ветром. Так и не доехав туда, куда вело его что-то внутри, он поворачивал домой, по пути покупал черешню и, прокусывая тончайшую кожицу, втягивал жгучий сок. И каждый раз на пороге его встречала она и поцелуем отбирала черешневый аромат, обменивая на тонкий привкус сливовой настойки. Он облизывал губы и следовал за ней в комнату, где его уже нетерпеливо ждали взбитые подушки и пуховое одеяло.

Наутро они разбегались кто куда, а подушки оставались томиться до следующей ночи. Как-то раз ему захотелось перемен, он взял красную краску и перекрасил стены в комнате в кровавый цвет. Он выкинул почти всю мебель, оставив кровать, белым пятном на карте красовавшуюся посреди багряного пространства. Женщине эксперимент пришёлся по душе, и на её щеках теперь всегда интригующе горел румянец, даже если она умиротворённо спала. Он наблюдал за сломанным спектром прошлых цветов и помалу раздражался навязчивостью стен, сковывавших его теперь как никогда раньше.

Теперь он ясно чувствовал, садясь в автомобиль, что бежит из дома, неважно куда, главное – дальше от несвободы, душившей его, сжимая горло тугими тискаами. Он бежал без

оглядки, ломая голову, как остаться свободным, но при этом сохранить любовь и не разбить то, что им вдвоём удалось построить за совместно проведённое время. Он знал, что те чувства, которые возвышались кирпичик за кирпичиком, несложно разбить одним неловким движением, и что восстановить их заново куда труднее, чем снести всё под ноль и начать строить новые отношения. Он переживал, что уже в самом начале проклятие настигает его, даже не дав ни малейшего шанса попытаться избежать тягостных потерь. И он ехал, ехал, минуя повороты и перекрёстки; верстовые столбы пролетали мимо, отмеряя километры, разделявшие его с Ней. Он ехал, думал и боялся. И когда лицо стало грубым и шершавым, ветер нашептал, что пора домой. Елисей повернул обратно и вспомнил лицо Женщины, которая его ждёт. Внезапно тоска проснулась в его сердце, и оно, соскучившееся по женской ласке и верной любви, заныло тихим ля-минором.

Он вошёл в прихожую, хранившую былые встречи и приветствия, но Она не встретила его, как бывало раньше. В спальне, где он оставил память, она дарила запах своих волос другому мужчине, стягивая пальцами простынь в кулак.

Он подошёл к столу, взял карту и закрыл за собой дверь. В машине с закрытыми глазами ткнул пальцем в карту и поехал туда, куда было суждено. Северный ветер всё подгонял его в спину, и он похоронил в себе первую единственную любовь.

Шли годы, он выбрасывал пустые обложки Фаулза, Гёте, Миллера, Борхеса, вечерами пил виски, а утром выкидывал пустые бутылки и воспоминания о ночных посетительницах. Меж тем, он оставался непреклонно моногамным и не позволял себе обманывать тех, с кем проводил время. Первый опыт научил его чувствовать, как медленно разрывается сердце, и как невыносимо знать, что ты не единственный, что твоего искреннего тепла не достаточно, чтобы поддержать дуалистичный союз, в котором мужчина был духом, а женщина материей. Как только он осознавал, что из глубин родника больше нельзя черпать чистейшую воду, а отношения не доставляют ему первозданного удовольствия, он уходил и никогда не возвращался. Таким образом, он всегда принадлежал лишь одной женщине, и было неважно, что каждый раз она оказывалась другой.

Когда была вырвана последняя страница диакона Павла, Елисей направился покупать новый фолиант для дальнейшего чтения. Среди стеллажей прыгала юная студентка и пыталась достать Шекспира, притаившегося недосыгаемо высоко. Он помог ей достать издание и, оценив его объём, решил, что ранее выбранный Кафка остаётся дожидаться следующего раза.

Студентка оказалась очень мила; в кафе на углу он рассказал ей, что Шекспир – лишь глубочайший слой, из которого растут такие прекрасные вещи, как романтизм, импрессионизм и всё, что угодно, а сам уже мысленно представлял её на купании красного коня. Его повествование было загромождено именами и примерами, и она сидела, широко раскрыв глаза и кусая ванильный круассан. Он вызвался проводить её до дома и предложил продолжить их беседы; она, конечно же, согласилась.

Через день в том же кафе он вещал ей про музыку и кинематограф двадцатого века, о проблемах театра и его неутолимой любви к постановкам. Она всё так же внимала его разглагольствованию, затаив дыхание, и осознавала, что начинает боготворить его, сидящего напротив и знавшего так много, что все мальчики и юноши, с которыми ей когда-нибудь приходилось общаться, не ведали даже вместе взятые и десятой части его глубочайших познаний. Ему льстило её подростковое поклонение, и он даже находил забавным игру в учителя и покладистую ученицу. И он решил растянуть эту забаву, наслаждаясь непорочностью происходящего и наивным журчанием её незатейливых вопросов.

Она пыталась поймать под столом его пальцы и робко дотрагивалась до них, радостно щуря глаза оттого, что никто не замечает её шалостей. Эти прикосновения были ей как воздух необходимы, ведь именно они зажигали крошечные искры и, как ей казалось, рождали магию первых свиданий, ту магию, которая может быть, только когда тело не насытилось взаимными

ласками. И за мгновения, когда он поднимал веки или, наоборот, делал вид, что ничего не происходит, она была готова отдать все деньги мира. Потому что уже тогда она знала, как редки бывают маленькие радости, и как долго ей ещё будут сниться его морщинки в уголках глаз, когда её мизинец цеплялся за его.

День за днём он находил новые формы для словесного пластилина и вещал перед ней часы напролёт. Как только ему наскучивал собственный монолог, он многозначительно смотрел на собеседницу, и она, смущённая и не находящая подходящей реплики, поспешно хваталась за капучино и глотала горячий напиток, обжигая нёбо и делая вид, что содержимое чашки остыло. Он смеялся про себя, смеялся над её инфантильностью и над тем, как он, когда ему было лет тринадцать, так же сидел с какой-то девочкой и хлебал чай чашку за чашкой, не зная, чем наполнить неловкие минуты. А та с выражением превосходства на лице гордо скрещивала руки на груди и специально молчала, смущая его ещё больше.

Капучино в чашке закончилось, а он всё не продолжал. Тогда студентка, загнанная в угол собственной глупостью, поспешила ловить момент: сейчас или никогда. Своей горячей рукой она взяла его, лежащую рядом на столе и оказавшуюся обжигающе прохладной, ладонь. Это был кощунственный шаг, прыжок в бассейн без воды, финальная черта, которую она пересекла и, тем самым дотронулась до бога и постигла новые истины, которые были закрыты для неё, если бы не он.

«Родители уехали на выходные. А я как раз купила индийский чай и чудесный фильм про Тауэр» – заговорщицки проговорила она.

Он успокаивающе положил вторую руку поверх её и загадочно улыбнулся. Это был тот сладостный миг, ради которого всё задумывалось. В его распоряжении была чужая жизнь, с которой он мог играть как угодно, мог подарить боль разочарования и сломать доверие ко всем, а мог отпустить на волю, не оправдав её ожидания, и так же сломать веру в её женское начало. Он встал, накинул ей на плечи свой кардиган и взял под руку. Подходя к дому, он уже подготавливал её к постреализму, и, пропустив чайную церемонию, сделал её первой страницей новой книги. В ночной мгле он, не включая свет, собрался и пошёл домой.

Он не любил чужих постелей, ситцевых простыней и цветочных узоров. Его всегда тянуло к его белоснежному белью, заставляя покидать уют чужих квартир.

По дороге он заглянул в бар и окунулся в урбанистическую мессу тяжёлых басов. Брюнетка за стойкой не заставила себя долго уговаривать, и после лонг-айленда её номер телефона был с лёгкостью взят на завтра.

Было время, когда у него была связь с посредственной художницей, таланту которой каждую ночь он пел дифирамбы. И он читал взахлёб Элиота, выбрасывая главы за пару недель. На едином мерно прерывистом дыхании, в едином потоке мыслей и желаний. И в итоге он понял, что эта связь ему не приносит удовольствия, он стоит на месте и не получает того счастья от отношений, которое у него было раньше. С тех пор он зарёкся вырывать более одной страницы в день и смаковал более от ожидания и предвкушения, нежели от получения и обладания.

Дома он открыл Комедию ошибок и прочёл первые строки

Что ж, продолжай, Солин, сверши мое паденье, – Пусть смертный приговор прервет мое мученье.

Он усмехнулся; таково было начало апреля, на удивление солнечного и погожего, с воздухом прозрачно-люпиновым.

А студентка в то же утро пришла в кафе и села за привычный столик. Она искала Елисея в силуэтах посетителей, разглядывала купленный альбом с репродукциями Уорхолла и пила остывший кофе. Она пришла и на следующее утро, и ещё на следующее, и ещё долгие апрель-

ские утра, но так и не дождалась его. Когда наступил май, она выкинула альбом, забросила искусство и возненавидела запах ванильных круассанов.

В тот день он решил отдыхать от городской суеты и вспоминать посещавшие его сны. Сны были оборотной стороной его проклятья, то наслаждение и удовлетворение, которое компенсировало все его тяготы и переживания, перенесённые наяву. Он управлял ими, мог смотреть сам, а мог дарить другим. Это давало ему основание считать себя вседержителем сновидений, пусть не всех, но какой-то их части точно. Он бродил по свету и наблюдал за людьми, а потом присылал кому-то ночью понравившиеся впечатления. Были у него и любимые сны, к которым он периодически возвращался, пересматривал, переживал и смаковал их неповторимые ощущения. Один раз он был уставшим путником, пересекавшим пустыню и присевшим на ступени каменного дома. Загорелая красавица вышла из тёмной прохлады гостиной и предложила кувшин талого снега. Она сверкала белыми зубами и лукаво щурила глаза, манявшие вглубь коридоров, за которыми они переплетались в горячем танце, сменяя свежерасправленные простыни и отдавая тепло обнажённых тел.

Он мог быть выцветшей травой под вековым почетэ, у которого пряталась от любимого молодая мексиканка. Она бегала по нему босиком и, пойманная, лежала на его росе, остужавшей пыл влюблённых. Потом оба, вспомнив о времени, неслись к селу, и ветер трепал её волосы, бесстыжие и беззаботные, как поцелуи черноокого мексиканца.

После всех снов он прилетал обратно и сворачивался калачиком, как кошка, в деревянном ящике, лишь в котором ему было спокойно.

Безликое лето гладило кого ни попадя солнечными лучами, так же без разбора поливало ливнями и обдувало ветрами. Бездушные чёрные ночи то дарили жаркие объятия, то застилали глаза тонкой влажной плёнкой от точечной боли где-то там, внутри, от этих неразумных покалываний, как пиццикато, обжигавших сердце и беспричинной, необъяснимой бесцветной водой покрывавших радужную оболочку глаз. Он летал и летал, и с каждым разом всё ему наскучивало, и хотелось однажды раствориться где-то по пути, так куда-то и не долетев.

В одно осеннее утро он отправился в парк. Было обычное для сентября лазоревое небо, на фоне которого пожелтевшая листва смотрелась по-левитановски нежно, и ему было необходимо запомнить то утро, эти бесшумные падения одежд, что дымкой окутывали деревья.

Дорожки покрывались упавшими листьями и вели по кругу фигуры, выгуливавшие собак. На лавочке рядом под села девушка в красном берете. Одним мимолётным взглядом оценив её облик, Елисей пренебрежительно отвернулся. Не его типаж: бледная кожа, бесцветные невыразительные глаза, тонкие губы.

«Ты ещё не купил цветок?» – обратилась она к нему неожиданно.

Он покачал головой. Она встала и пошла по дорожке, которая почему-то не повела её по обычной орбите, а следовала рядом, отдаляясь вместе с ней. Когда жёлтая дымка листвы почти поглотила их, ему в голову пришла мысль, что в шекспировское время можно поэкспериментировать и решиться на то, на что бы при диаконе Павле сложно было позариться. Он встал и побежал за ней, вытягивая взглядом её красный берет из туманной аллеи.

Её звали Майя, ей было двадцать три. Он предложил ей свой локоть, и они отправились к ней домой. Ощущение нежности и полнейшего умиротворения наполнило его, и он не отпускал её руку до двери.

Она налила горячий кофе в блюдце и внесла в комнату. Мареновый аромат разлил в воздухе свежесть малабарских плантаций. Они лежали на вершине мира, рядом, едва касаясь кончиками пальцев друг друга, и искали ответы в зрачках напротив. Ему казалось, что время остановилось, а кровать, как колыбель, оплетали пять оранжевых змей.

«Мы будем вместе полгода без месяца,» – она сжала его левую руку и вернула на бrenную землю. Впервые в жизни ему было так хорошо, что он остался на ночь в чужой постели.

Утром он вернулся домой и первым делом пошёл к полке, чтобы прочесть очередной отрывок комедии. Он открыл книгу и увидел, как вместо слов по странице плавают лупоглазая рыба, а по переплёту стекает мутная вода с тиной. Он поставил книгу обратно и заметил, что на полу растянулась мокрая лужа, в которой рыбаки на ложках удили карпов, а потом причаливали к берегу и продавали рыбу беднякам, обгладывавшим её взглядом до скелета и относившим добычу своим жёнам, от которых тошнотворно пахло нетопленными печами.

Он поспешно вышел из дома и направился к Антипию Сизому, слепому старику, славившемуся прозорливостью и умением разгадывать сны. В молодости тот наломал с ряжеными в длинные цветастые юбки полячками немало дров, и одно бревно впилося в его глаз невынимаемой щепкой, что испортило зрение и лишило интереса к нему распутных панночек. На освободившееся место разгульных утех пришли покой и смирение, а следом и зрелая мудрость. Антипий сидел в ветхом кресле и теребил анисовые чётки. Выслушав посетителя, он покашлял и ответил: «На тебе лежит ответственность двух имён, и ты сам выбрал путь с двумя судьбами. Только потеряв обе, ты обретёшь истинное лицо».

В глубоких размышлениях вышел Елисей от провидца и зашагал по брусчатке, не разбирая дороги. Та завела его на старый базар; он решил, что так суждено и сила Антипия в анисовых чётках, и вознамерился купить такие же. Но проходя мимо цветочной лавки, обратил внимание на уродливый амариллис со стеблём, раздваивавшимся к соцветию в жёлтый и красный бутоны. Ещё со времен Марка Аврелия он усвоил урок, что все сколько-нибудь прекрасное прекрасно само по себе и в себе завершено, и не придавал значения ненормальности подобной дихотомии. Без раздумий купил он цветок, довольный, нёс его в правой руке, и был остановлен за левую продавцом дорожных сумок и саквояжей.

«Четырнадцать лет назад один одноногий моряк оставил у меня короб и велел передать тому, кому придётся по сердцу искалеченное растение с двумя неродными цветками. Хотел уж было выбросить, но пожалел, и, вижу, не зря. Держи, он твой».

Он протянул ему подарок. Это был *тот самый деревянный ящик* из его снов.

Дома он поставил цветок на полку рядом с Шекспиром, а для ящика расчистил место на письменном столе, скинув всё лежавшее прямо на пол. В глубине души он и раньше подозревал, что снившиеся ему вещи чересчур твёрдые на ощупь, вода слишком мокрая, а нагота нагла настолько, что не может быть эфемерной. Обилие впечатлений от сегодняшних событий и встреч стучало в висках необходимостью найти ключ к его тайне, которая за двадцать лет стала его пресыщенным проклятьем, и избавиться от неё, если это возможно. Ответ на все вопросы, как думал он, таился в его былых и ещё никому не подаренных снах, среди взмахов ресниц, учащённого сердцебиения и прощальных вздохов.

Вечером он приготовился: выпил вересковую настойку, надел тёмно-синюю мантию и прилёг. Не успел забыться, как очутился над засыпающим Рейкьявиком.

В морозном воздухе искрился падающий снег, и Улле брёл по запорошенной Адалт-страйти. очередное первое свидание закончилось замёрзшими руками и обнадёживающим, хоть и небрежным, касанием его губ и несогревающе-робким поцелуем Греты.

Он не был обольстителем, но с ней он заранее знал, что финал будет трагичен, и, оттягивая тяжёлые мгновения, растил её чувства и щедро питал иллюзии.

Он знал, что не даст зарождающемуся плоду её любви быть съеденным гнилым червём, рывшим глубокие тоннели в переплётах всех романов, длившихся больше пяти ночей, и сам решил обглодать яблоко несостоявшихся раздоров.

Она облизывала губы, на которые садились кружевные снежинки, и полосатыми варежками стряхивала рыхлый пух с его волос. Громко по-детски смеялась и опрокидывала его в сугробы. Он позволял с собой играть, а про себя проговаривал варианты отказа от связывания себя по рукам и ногам клятвами и чистосердечными признаниями.

«Не сегодня. В такую пургу слова коченеют и, влетая не в то ухо, стекают за шиворот и пачкают воротник».

Они сидели у камина на выцветшем шерстяном ковре и дразнили вой, доносящийся из дымохода. Он наливал ей горячий шабли и рассказывал про обильные виноградники Шираза, наливные луга и солнечные долины, в которых хорошо прятаться от северных непогод. О том, как молодые темноволосые красавицы в плетёных из роз накидках приносили строителям Аех Рокни молодое вино, кислое и терпкое, жгучее, как юная неуёмная кровь, и ублажали танцами добровольных пленников Шахмобада, глядевших на них из бойниц крепости голодными глазами.

Грета слушала, затаив дыхание, и каждым глотком обжигала язык, представляя, как на её животе блестят монеты и постукивают расшитые бисером сагаты, а Улле, обремененный военным долгом, стоит у входа и наблюдает за ней, борясь с собой и мечтая всё бросить и уйти с ней.

Он всё рассказывал и между делом расстёгивал её платье, соглашаясь, что не отказался бы лицезреть её лишь в позвякивающих шароварах. Это была их четвёртая ночь и его последняя возможность не задержаться в чужом доме и жизни более дозволенного им самим, но удобного момента для объяснения не находилось, а уходить по-английски он на этот раз не хотел. Устав от бесконечных недоговорок, он бережно вынул руку из-под её головы, забрал её сердце и навсегда выпрыгнул в окно.

Она проснулась и увидела его рядом, с взъерошенными волосами и едва уловимым запахом выпитого вина. Это было их четвёртое утро после четвёртой ночи; она осторожно разбудила его и попросила уйти и больше не возвращаться. Прощаясь в дверях, она подарила ему на память иранскую монетку. Он поблагодарил, а выйдя на улицу, выбросил её в первую попавшуюся грязную лужу.

Ему мешала его память, возвращавшая его в тот год, когда он пахал землю под напевы скандинавских крестьян, его друзей, застывших на фреске церковного крыльца, память, скорбевшая по Ханне, с которой его разлучил дымящийся залив. Она ушла на лодке в море с отцом и растворилась в серой туманной пучине. С тех пор он искал её, смотрел с надеждой в кишащие снежные дали Тьёрнина, но не решался следовать за ней в море и, конечно, представить не мог, что она каждую ночь прилетала за ним и угрюмо выла в дымоход.

Позади оставался Рейкьявик и спавший вместе со всеми Гекла, Норвежское море и Атлантический океан. Догоняя закатные часы, он пересекал пояса и встречал одну и ту же ночь, одаривая красочными рядами картинок блаженствовавших на пуховых подушках. Подбираясь к островам Королевы Елизаветы, он настиг «Desengaño», маленькое судно, заплутавшее в лабиринте проливов и архипелагов. Матросы бодро сворачивали снасти на палубе, капитан вглядывался в бушующую темноту впереди, а внизу, в каюте, дремала маленькая пассажирка, восьмилетняя Эльза – синеглазая дочь бросившей её пуэрториканки. Никто не помнил, как девочка оказалась на борту; в сильный шторм близ острова Девон её нашли на корабле плачущей возле тюков со старыми вещами, напоили чаем и оставили до прибытия на сушу. Но, то ли мастерство пожилого капитана изжило свой век, то ли компас отказал, но до берега они не могли добраться уже два года. Поначалу, завидев остров, они проплывали мимо, так как держали курс на другой, а потом, исходив все проливы, бухты и гавани, и, так и не достигнув нужного им Элсмира, согласились пристать к первому попавшемуся, чтобы запастись провизией и пресной водой. Но море сыграло злую шутку: оно водило их кругами, то бросало и трепало судно, то плавно качало и убаюкивало на своих волнах, но к земле не приближало.

«Что за чёрт!» – ругались матросы, когда, расправив паруса, они мчались к виднеющемуся на горизонте острову, но вместо того, чтобы увеличиваться, он вскоре исчезал из вида.

«Санта-Росалия!» – взывал капитан, твёрдо держа штурвал по направлению к чернеющей полосе и осознавая, что она стремительно сужается и растворяется в солёном море.

Эльза молчала. Ей не нужны были острова Королевы Елизаветы; ей не нужна была просто суша, она и без неё твёрдо ступала по палубе. Она хотела встретить любовника своей матери и отомстить ему, черноволосому американцу, в порту заставившему сделать ту выбор: либо он увезёт её одну за тридевять земель и подарит роскошную жизнь, либо оставит с дочерью и никогда не вспомнит о ней. Мать бросила родное чадо и поднялась на корабль американца, держась за грубую мужскую руку. Теперь, пока вода кружила «Desengaño», сменяя течение за течением, Эльза придумывала месть, которая должна причинить боль, равную её боли, и жадно мечтала о родном доме. В ту ночь наверху никто не кричал о приближающейся земле, никто не свистел и не бранился. Она дремала.

Пролетавший мимо ветерок заглянул в её мечты и по-отечески пожалел, подарив сладкое видение о возмездии. Ей снилось, что их корабль посреди моря столкнулся с судном американца. Те сбились с пути и с мольбами о помощи обратились к ним. Добрый капитан, рискуя жизнями своих матросов, передал им необходимые вещи, продукты и карты. Незаметно для всех девочка перебралась на чужой корабль и, выждав удобный момент, открылась. Американец закричал, чтобы она убиралась с глаз долой, а мать слёзно молила оставить дочь хотя бы до ближайшего берега. Тот, не согласившись, подбежал к Эльзе, схватил несчастную и поволок к бортику, пытаясь сбросить в воду. Тогда мать с истошными криками кинулась на него и всадила в сердце нож. Американец злобно посмотрел на неё и повалился на палубу, истекая кровью.

«Прости меня!» – заголосила мать и кинулась дочери в ноги. Та, обессилевшая от ожидания материнской любви и совершенно равнодушная, вернулась на «Desengaño» и, спускаясь в свою каюту, бросила взгляд на соседнее судно: мать, потеряв всех близких, вынула нож из тела американца и ударила себя в грудь.

В трюм бился утренний свет, повисая на ловко сплетённой паутине и прыгая по ресницам, разлепляя после долгой ночи. Девочка прислушалась и мгновенно вскочила: наверху раздавались голоса, десятки голосов, слышался шум машин, стук копыт и крик визгливых чаек. Она выбежала на палубу и увидела пристань, кишашую торговцами и моряками.

«Чёрт побери, куда нас занесло?» – кричали матросы, не волнуясь об ответе, и клялись, что больше и шагу не ступят с этой проклятой суши.

«Санта-Росалия! Что это за страна?» – спрашивал небо капитан и благодарил судьбу, целуя штурвал и выбрасывая якорь.

«Сан-Хуан» – дрожащим голосом прошептала Эльза, узнавая место, где в последний раз видела мать, и с ужасом вспоминая ночное приключение.

Приплывшие восторгались чудесным вкусом пресной воды, запахами туземных блюд и специй и поспешили отметить чудесное спасение из морского плена в ближайшей таверне. Мужчины заказали пиво и мясо, девочка взяла воды.

В помещении было темно и душно, громкие полупьяные разговоры кружили голову местным куртизанкам, задёшево соглашавшимся идти с небритыми незнакомцами, насквозь пропахшими элем и морским дном. На лестнице слышались брань и грохот сломавшейся мебели; все замерли и стали наблюдать, как пьяницы не поделили женщину для утех, которая стояла, прислонившись к стене и выжидая, к чему приведет перепалка. Представление вскоре кончилось, когда один получил неплохую затрещину и полетел кубарем вниз. Победитель сплюнул и повёл избранницу в комнату. Та задорно смеялась и пьяно облакачивалась на его руку, зазывно виляя бёдрами.

– Гера, я всё-таки следующий! – проорал с пола валявшийся неудачник.

Женщина, взявшая это имя, обернулась и насмешливо спросила:

– Кто ещё?

Карие глаза горели страшным огнём пустоты; в них не было ни боли, ни страха, ни желания; кудри растрепались, и она, запыхавшись, отдувала их от лица. Это была её мать.

– Со шрамом, а хороша, – поделился с матросами пивший за соседним столом толстяк.

– Со шрамом? – переспросил капитан.

– Ходят слухи, что пару лет назад она уплыла с острова с одним американцем, который занимался контрабандой старинного оружия. Однажды он, как обычно в погожий день, достал кинжалы и стал их чистить на палубе, а она стояла рядом и наблюдала. Ни с того ни с сего налетел сильный ветер, корабль закачало, американец не устоял на ногах и свалился. Уж бог знает, как его угораздило, но упал он прямо на заточенный нож. Она стала дико кричать и рвать на себе от горя волосы, а потом вынула кинжал из его сердца и ударила себя в грудь. Тот сломался и распорол ей кожу на груди, да как-то чудно, будто клеймо, по форме напоминающее букву Э. Её привезли в порт чуть живую и бросили прямо у входа в таверну. Местные работницы её отходили и приучили к своему ремеслу. А моря она стала как огня бояться, потому и назвалась Герой, что пустила корни в землю. И теперь никуда: ни в воду, ни в небо. Отчаянная.

Матросы посмеялись над нелепой историей, а вода в кружке Эльзы позеленела. Её самой поблизости не было. Капитан выплеснул зелёную гниль на деревянный пол и заказал ещё порцию мяса.

Так, незаметно для себя Елисей оказался по ту сторону северного тропика и решил повернуть домой. По пути в деревянный ящик он разбросал невнятные сновидения по городам, безликие и незапоминающиеся, и устало вздохнул, очутившись в четырёх стенах родного укрытия, сквозь крышку которого сочился золотистый рассвет.

Когда он проснулся, в комнате пахло вересковой настойкой, а в углу, в протухшей зелёной луже, валялась иранская монетка. Он осторожно достал её и положил в карман, приготовившись в следующий раз бросить её какому-нибудь бедному иранскому мальчишке, что будет бежать за повозкой, предлагая почистить ботинки.

Он подошёл к полке и достал комедию, чтобы проведать рыбу и, при надобности, её подкормить, но листы были пусты и сухи, хоть и хранили до сих пор насыщенный запах йода и соли. Он усмехнулся, подумав, что, таким образом, Майя остаётся для него закрытой книгой, и отправился к ней. Пройдя пару шагов, он придумал преподнести ей купленный накануне амариллис, ведь всё равно ему не суждено было выходить растение.

Он уверенно постучал в её дверь, и первое, что она увидела, был протянутый горшок с забавным больным цветком.

«Всё-таки не прошёл мимо него,» – улыбнулась она и приняла подарок, как крошечное дитя, нуждающееся в ласке и нежности.

Она поставила цветок и за руку отвела его в спальню. На нём было восемь одежд, и, снимая очередную, он словно сбрасывал с себя годы, въевшиеся в хлопковую ткань.

Ему казалось, что на кромке брюк засохла невидимая грязь, которую он топтал на Альпийских лугах, собирая у подножия гор эдельвейсы, чтобы потом вечерами вплетать их в её ресницы, с каждым взмахом которых цветы рассыпались бы на мелкие искры и взлетали потухающим салютом в темнеющее небо. А потом они ловили их сачками для бабочек, не разбирая, цветочные искры это или звёзды.

Она варила эдельвейсовый суп с корицей и ставила его на солнце наполняться бликами; он глотал ложками тёплый бульон и чувствовал запах небесных светил. И, осушив до дна тарелку, он познавал все тайны мироздания с начала времён.

Он закрывал глаза, вдыхал запах её волос, и казалось, что ему снова семнадцать.

Каждая женщина для него была индивидуальна, прекрасна по-своему, и не похожа на остальных ни единой частицей. Глядя на Майю, он мучительно пытался понять, что его гнетёт в пребывании с ней, и отчётливо понимал, что это что-то также заставляет его возвращаться к ней снова и снова. Словно у него были прежние жизни, в каждой из которых он с завязанными глазами шёл по натянутой верёвке и неизбежно приходил к ней; в ней он находил своё завершение, без которого неведомые силы тянули его на бесконечные поиски непоправимых ошибок и разочарований. Они были абсолютно комплементарны; крайний узор одного иде-

ально подходил под начальный другого, словно две части одной античной мозаики с изображением батальных сцен, продолжаемых мирной жизнью. Она была повторением его мелодии, транспонированной на несколько тонов выше. И он непременно хотел запомнить то чувство блаженного умиротворения, стал рисовать её, порой делая записи к портретам, и с усмешкой дразнил её «моя Гала».

Она любила засыпать с коленкой между его коленей, лицом уткнувшись в его колючую шею, трогая губами его уставшие плечи. Он неровно дышал, и ей виделись его сны. Они всегда были мужские, резкие, за ними сложно было поспеть. Но она брала его за левую руку, и всё останавливалось.

Они шли по бесконечной дороге, и чем далее вглядывались в линию горизонта, тем острее боль пронзала глаза; и, чтобы избежать её, они поворачивались и смотрели друг на друга и видели отражения двух потерянных имён, кричавших и стучавшихся перекошенными от собственной ненужности лицами о невидимую гладь реальности. Двумя белоснежными лебедями они плыли по реке времени, и, сплетаясь длинными шеями, каждый дарил покой и верность единственному на свете, тому, в ком ощущал свою парность. И прозрачное течение несло их вдоль берегов приземлённых дней, порой выбрасывая на невесомые острова их промокшие тела. И они лежали, тяжело дыша, и вынимали из волос прилипшие лебединые перья, а потом кидались с новой силой в водоворот. Он, впечатлённый её стремлением не ломать, а оберегать, готовился отдать ей на хранение его секрет, не подозревая, что и у неё был секрет, и что их секреты были также парны друг другу, как и их владельцы.

Несколько раз она пыталась рассказать ему, что давным-давно, летним утром к ней подошла мать и открыла тайну, ставшую трагедией обеих. Ей было суждено отдать своё сердце человеку, выбравшему больной цветок и стать концом его начала. Не раз она смотрела в ночное небо, стоя у окна, и гадала, что бы это могло значить. Но что-то её давило, душило, будто затягивая шёлковый шарф вокруг тонкой бледной шеи при мысли об этом; что-то приводило её на балкон и толкало через перила лететь в чернеющую пустоту доли секунды, через которые она судорожно вздрагивала и просыпалась в холодном поту на своей деревянной прямоугольной кровати. И как-то в свете едва пробивавшегося сквозь плотные гардины солнечного сияния она взглянула в зеркало и смирилась, что её именем станет Майя до тех пор, пока комедия из совершённых ошибок не превратится в фарс и прошлое не уничтожит будущее.

И она уже была почти уверена, что перед ней тот самый человек, с которым ей было суждено завершиться, но надежда, что из лабиринта можно выйти там, где обычно входят, что она отыщет ту исходную точку, в которой замыкается круг, тянула дни их связи и заставляла засидевшийся на месте ветер по-набоковски пряхть музыку их свершающихся проклятий. И она по привычке продолжала хранить их отношения, тайну и молчание, улыбаясь грустной жемчужной улыбкой.

Он был чересчур занят боязнью того, чем могли закончиться его искренние взгляды, обнимал её как бы случайно, лишь бы она не догадалась, что он её держит, а она в ответ делала вид, что ни о чём не подозревает, и целовала его ладони.

Как-то вечером в четверг он посадил её в клетчатое кресло и попросил не двигаться. Достал холст, масло, кисти, скипидар. Её лицо было слишком идеально, слишком дорого, чтобы оставлять его в четырёх стенах. И он стоял, задумавшись, какой фон стал бы точным продолжением её чётких черт.

– Что тебе по душе: море или лес? – поинтересовался он, бессмысленно покручивая кисть.

– Сейчас я смогу быть только тарелкой абрикосов, – засмеялась она и на его глазах стала превращаться в спелые фрукты.

Он поспешил сделать эскиз, небрежно разбросав мазки по холсту и считая секунды, боясь, что она превратится обратно до того, как он схватит нужные тени. Но она не двигалась

ещё несколько часов, терпеливо выжидая, когда художник положит финальные линии перемешанного масла на картину. Сквозь охру и белила он видел заигравшихся в летний зной детей. Они резвились на сочной зелёной траве и, громко смеясь, бегали с мячом. Зайчики прыгали на их раскрасневшихся щеках и брали силы в задоре их считанных лет. Окно дома открылось, и молодая женщина позвала детей внутрь. Те наперегонки бросились в комнату, посреди которой стоял накрытый стол с полной тарелкой вымытых абрикосов.

Как только он отнял руку от полотна, обнаружил, что перед ним снова сидит она, немного румяная и притомившаяся.

– Ты прекрасна, – выдохнул он, глядя на картину.

В январе колючая стужа выгнала их за тысячи километров в небольшой домик на солнечном побережье. Весь скарб уместился в коричневый кожаный чемодан, а потом нашёл своё место в уютном коттедже, деревянная лестница которого ещё полвека назад вросла в рыхлый золотистый песок. Они часто прогуливались вдоль береговой линии, задевая босыми ногами голодную пену прибывавшихся волн. Могли молчать сутками, упиваясь сладостной томностью и нахождением поблизости, или трещать часы напролёт о пустом, которое неожиданно приобретало всеобъемлющий смысл.

Она уезжала в город и возвращалась с диковинными вещами, туземной одеждой и местными продуктами. Однажды она привезла бирюзовую тунику, надела её, и он узнал по серебристому отливу подола, что всю ночь она будет лежать на берегу и ловить падающие звёзды в одиночестве. В следующий раз её тело обтягивало белое платье, это было знаком того, что ночью планируются полёты на край земли. Он дождался красного пончо, сигнализовавшего о надвигающемся костре страсти, в котором должны сгореть оба, а наутро воскреснуть Фениксами из пепла угаснувшей похоти. Она учила его играм, в которые играют люди, а он, упоённый ими, напрочь забывал про утерянную привычку вырывать по утрам листья проведённых с женщиной ночей. Он больше не стремился уничтожить чужое произведение; напротив, его рисунки с подписями становились мемуарами, который он сам создавал. Из разрушителя он превращался в творца наяву, того творца, всемогущего и не знающего границ, каковым бывал раньше, вылетая из деревянного ящика.

Поначалу он сокрушался, что не захватил его из дома, оставив пылиться на письменном столе, но вскоре Майя заполнила бездонные пустоты в его жизни, которую он привык проводить, даря людям красочные сны и просматривая чужие жизни как собственные сновидения. С ней не бывало скучно, даже из отдыха на пляже она делала маленькое приключение и смеялась, когда просыпалась с высохшей морской звездой на плече, за несколько часов под солнцем оставившей под собой бледный след кожи на фоне смуглого загара.

Порой, когда она ночами лежала на сером песке, он украдкой наблюдал за ней из окна и пытался ухватить ту звезду, за которой уже охотилась она; и от досады за упущенную добычу, она сжигала все оставшиеся на небе светила, а он жмурился, глядя на звёздный салют. Под утро, босая, она вставала на пороге и развевала дым от сторевших комет, а высохшие песчинки скатывались мелким бисером по её гладким голеним.

Она готовила ему, и он не раз, довольный, сидел в кресле напротив и наблюдал, как она что-то стряпала. Ветхое бунгало под её присмотром превратилось в обустроенное гнёздышко, сквозь окна которого сочился золотистый рассвет, и куда он возвращался всякий раз, когда северный ветер убеждал, что пора домой. По пути о ветровое стекло бились ошалевшие от жары мухи, и он припоминал своего деда, ветерана восьмилетней войны со слепнями, той, в которой тот научился варить похлёбку из врагов и без соли уминать её за правой щекой. Их головы хрустели на зубах, а стеклянные крылья резали розовые дёсны, но ненависть к ним заставляла отряды разжигать костры, а потом вытирать вышитыми платками кровоточащие рты. Дед-то и научил Елисея жевать с закрытым ртом и видеть, как измельчается пища с каждым движением челюсти. И всякий раз, когда Майя подавала на прозрачной тарелке физалис с

эстрагоном, в его желудке начинали тереться друг о дружку осколки крыльев съеденных дедом слепней.

По пятницам они гуляли допоздна по мокрому песку вдоль линии, где рокочущие волны едва дотягивались до сухого края.

Она рассказывала ему о разных глупостях, приходящих к ней порой. Ей казалось, что где-то живёт некая живая мысль, странствующая по умам людей.

Она живёт в головах, узнаёт всё о своём временном владельце и, если он ей не нравится, покидает его и перебирается в другого.

Елисей скептически посмеивался и обнимал за плечи.

– Не веришь?

Он опускал глаза.

– Ну, тогда слушай. Я не знаю, когда и откуда она появилась. Сначала ей было мучительно трудно, потому что она не умела выбирать правильный момент, когда уходить, а когда оставаться. Потом подросла, окрепла и набралась опыта. Научилась отличать добро от зла и заражать остальные, постоянные мысли своими идеями. Она влюбляла молодых людей и девушек друг в дружку, заставляла преступников идти сознаваться в содеянном, обнадеживала неизлечимо больных и дарила им веру в чудеса. Она приходила и ко мне, поведала о том, что ждёт впереди, и ушла, выполнив свою пророческую миссию.

– И что она предрекла? – в его глазах светила луна и отражался рябой океан.

Она помнила, что ей было суждено утонуть в этом океане, но ветер был в ту минуту слишком тёплым, родное сердце билось слишком близко, и слишком жаркие поцелуи дарили этим вечером губы напротив.

– Что всё будет прекрасно.

Они шли, взявшись за руку, и дышали необязательной вольностью. Как-то раз, забывшись часа на два, пройдя не один километр, они внезапно, будто отрезвев, обнаружили перед собой неизвестную местность. Чуть вдали, за крупной листвой редких деревьев, виднелся огонь костра, к которому они и направились. Перед полыхающим костром сидела женщина лет шестидесяти и теребила увесистые бусины, связанные в уродливое ожерелье на шее.

«Я хочу такое же», – шепнула Майя ему на ухо и распепила руки.

«Это розовый кварц», – произнесла женщина, сняла ожерелье, взяла её ладонь и провела им у кожи, не касаясь руки.

Глаза Майи широко раскрылись, а губы приготовились высказать удивление, как незнакомка вернулась на место и опять надела своё украшение. Они сидели втроем перед горевшими поленьями и слушали треск превращающихся в прах головешек. Времени было хоть отбавляй, и разговор возник сам по себе.

Женщину звали Марка. Рассказывала она о том, как выскочила замуж лет в шестнадцать за чернобрового красавца, целовавшего её уста и прижимавшего её бёдра к своим. Как страстно она отдавалась ему, как нежно любил её он. И как однажды в их дом пришли одетые в серое гражданское люди и, не сказав ни слова, забрали его с собой.

Через пару недель пришло письмо, в котором он клялся, что непременно вернётся, вернётся непременно живым, как только закончится война.

«Война». Горящими буквами слово отражалось в её глазах. Они, молодые, со своей безумной любовью, забыли о том, что, помимо друг друга, существует ещё и мир, и что в нём постоянно что-то происходит. Так незаметно к ним, как и к тысячам таких же, слепых и смыкавших губы, онемевшие от лобызаний, подкралась война, сменив мир в их мире, на нервную дрожь и бег в бомбоубежище под нескончаемый вой сирен.

– Он сообщил, куда его распределили, я взяла лишь письма и отправилась следом. Его закинули в самое пекло, откуда живыми редко удаётся выбраться выдавшим виды солдатам, а новичками устилаются поля, разравнивая дорогу идущим в атаку по их недвижимым телам.

В ожидании встречи я пошла в сёстры милосердия и промывала раны, стирала грязь с лиц в надежде под слоем глины обнаружить знакомые черты. Прошло немало месяцев, писем от него не было. Но вот однажды, когда я только сняла запачканный передник, в палату внесли его, всего израненного, истекавшего кровью и обессиленного настолько, что он не мог даже стонать. Таких в нашем лазарете не лечили, а отправляли за полконтинента, туда, где вой сирен доносился лишь из телевизоров, передававших сводки новостей. И тот, кто доживал до священной земли, получал исцеление.

Ни на секунду не колеблясь, я выбила место в последнем вагоне последнего рейса. Мы выехали с вокзала вечером, в страшной духоте, спешке, страхе, и под красным небом, пылающим кровавыми облаками шёл наш товарный поезд, набитый живыми людьми: ранеными, женщинами и детьми, бегущими из осаждённого Таллинна. В нас было дыхание надежды, что, преодолев тонкую чёрную линию на карте, наши мучения, если не прекратятся, то отсрочатся ещё на какое-то время. Все раны заживут, мужья вернуться к жёнам, пули в их телах превратятся в бурые родинки, а дети вырастут и никогда не станут поить ненасытную землю чужой кровью.

Я видела, как зрочки всех были уже поделены вождельной условной линией. И как от задохнувшейся свободы, пахнувшей никогда не пробованными апельсинами и пресытившим голодом, стало трудно дышать, и, когда лишь река отделяла настоящее от будущего, войну от мира, головной вагон резко затормозил, и весь состав растянулся пыльной змеей по ладони моста. Тишина была единым стуком сердец в голове каждого, и поезд превратился в один организм, притаившийся и ожидающий, и все дышали синхронно, боясь, что, вдохнув невпопад, выдохнуть не получится.

Я посмотрела на него. Он, до этого лежавший у открытой двери в забытьи, теперь приподнял голову и ясным взором глядел на меня. Я сжала его ладонь и хотела расплакаться, я видела в отражении его глаз всю ту не отданную любовь, всё ту не выстраданную печаль, которые мы должны были, но не перенесли вместе. И на их фоне отразилось уставшее небо, по которому к нам подлетали вражеские бомбардировщики. Он тоже их видел.

Вагон жутко трянуло, а потом всё произошло, как в чёрно-белом кино: то ли все был оглушены первыми ударами, то ли бомбы разрывались бесшумно, но больше никто ничего не слышал. Лишь продолжало трясти вагон, и немые раскрытые рты, схватившиеся за головы руки, зажмуренные глаза вертелись передо мной.

– Боже, каким надо быть зверем, чтобы так поступить! – ужасаясь, проговорила Майя.

– Предателем оказался главный машинист, эстонец. – Марка глубоко вздохнула. Помолчав, продолжила. – Очнулась я в госпитале, за много километров от того страшного месива. Кому и как удалось спасти меня и ещё с десятков человек, – одному господу известно. Любимого рядом не было. И сколько я ни пыталась разузнать судьбу того злополучного поезда, все только пожимали плечами и разводили руки.

Со мной осталось его последнее письмо. «Люблю тебя, жизнь моя» – такой была последняя строка.

Марка потеряла палкой гаснувшие угли и уткнула взор в песок.

Её незваные гости неловко молчали, глядя на собственные коленки. Под приглушенное потрескивание остатков поленьев женщина устало прошептала:

– Прошло уже лет сорок, как я осталась одна. И сорок лет я корю себя за то, что убила любимого мужчину. Ведь это я растолкала всех локтями, но достала бумаги, необходимые для эвакуации. И, если бы я тогда доверилась судьбе, поверила в силу нашей с ним любви, в то, что вместе мы преодолеем все преграды, а не поспешила навстречу смерти, он бы был со мной, и над его чёрными бровями раскинулось бы синее небо. И я действительно была бы его жизнью, а не смертью.

Последние слова окончательно выбили почву слушающих из-под ног, и они крепче сжали руки, давая друг другу понять, что они-то не потеряют веру в себя, и им ничто не помешает быть вместе.

Весь обратный путь они прошагали молча. После этой встречи жизнь потекла обычным чередом, лишь порой по вечерам Майя смотрела в небо и размышляла, что, возможно, это и была судьба – остаться их знакомой одной, что и в том таллиннском лазарете смерть отняла бы её мужа, и что никогда благие намерения в рай не приводят. Елисей, бывало, тоже задумывался над этим, но, конечно, гораздо реже.

Иногда он покидал место своего добровольного отшельничества и захватывал домой новые вышедшие пластинки, только что отснятые киноленты, а вечером, поглотив эти новшества со звериным аппетитом, смаковал послекусие и обсуждал с ней впечатления.

Он любил песни, в которых нет смысла, и фильмы, наполненные бездонными премудростями. Ещё лучше, если лента начиналась с конца сюжета, когда было известно, чем всё закончится. И он сидел, уставившись в электронную картинку, и волновался, будет ли финал таковым, каким он был в начале, или же герою удастся обмануть обстоятельства и изменить ход событий.

В подобных героях он видел себя, он также знал в самом начале, к чему всё должно было прийти, и пытался всеми силами обратить сюжетную линию на иной лад.

В последнюю субботу февраля она предупредила его, что их приедет навестить её мать. Мысль о подобном официальном знакомстве с одним из родителей его позабавила. Всю неделю до приезда Майя носила бирюзовые туники, а в пятницу надела красное пончо, сулившее ему наслаждение после каторги общения с матерью.

Вечером она взяла его машину и поехала на вокзал. Он остался дома представлять, какой будет гостя. Он заранее должен был к ней отнестись, как к женщине, подарившей Майе жизнь, и благодарить за столь ценный дар.

Он наливал воду в вазу для сорванных ирисов, как на пороге послышались голоса и звук приближающихся шагов. Дверь открылась, и в комнату вошли они. Майя и её мать. Майя и его первая Женщина.

Она была всё так же прекрасна, как и двадцать лет назад, так же свежа и неповторима. Она была его забытым прошлым и возможным будущим в лице её же дочери.

Внизу живота заныло, и тёмные круги побежали перед глазами. Он ждал, что сейчас кто-то щёлкнет пальцами, занавес закроется, зрители зааплодируют, поезд с оглушительным звоном проедет, он окажется в своём привычном убежище и полетит странствовать по свету, не отвечая ни за что, поступая так, как душе угодно.

Мать стояла на пороге и ждала того же, мысленно расщепляя его на атомы и развеивая по ветру прах воздушных замков, так аккуратно возведённых её дочерью. Проще всего было оставить всё, как есть: мать погостит денёк-другой и уедет, оставив ничего не подозревавшую дочь наслаждаться своей любовью к мужчине, любившему только своё имя. Но у него перед глазами стояла только его старая постель, и *женщина*, сжимавшая пальцами простынь под тяжестью другого мужчины. Она изгибалась, и капли пота увлажняли его белые простыни; её стройное тело было гитарой, на которой неизвестный музыкант играл чужие мотивы, и каждый раз, поворачивая лицо в сторону Елисея, женщина оказывалась то Майей, то её матерью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.